

В Китае хлеб не пекут. Там готовят рис. Но Ли Фу, как это ни удивительно, был пекарем. Выучился он этому мастерству на нашем Дальнем Востоке. С его появлением в пекарне сначала по выходным, а потом каждый день стали печь пахучий поджаристый белый каравай, который все в Краснополье называли китайским хлебом, хотя к Китаю он никакого отношения не имел. Когда меня посылали за этим хлебом в магазин, я никогда не приносил домой буханку целой. Я не мог устоять перед ее дурманящим запахом и отламывал кусочек за кусочком, испытывал непередаваемое ощущение вкусоности. Вкуснее этого хлеба я не знал ничего на свете.

Ли Фу в Краснополье привезла Рахиль. Привезла из Биробиджана, куда почему-то прямо из эвакуации поехала их семья. Пожили они там года четыре, а потом им там разонравилось, и они вернулись в Краснополье. Приехали они все: и дед Моня, и баба Ента, и сам хозяин Мойша-Аншел, и его жена Шиме-Перл и пять дочек — Рива, Злата, Соня, Доба и Рахиль. Отличить из них, кто старшая, а кто младшая было невозможно, потому что они появлялись на свет подряд, и разница в каких-то пару лет не влияла на их внешний вид. Всем им давно пора было под хупу, но с мужем приехала только Рахиль. Этим мужем и был китаец Ли Фу. Рахиль называла его Лейзером и всем говорила, что он китайский еврей. Может оно так и было, если вообще существуют китайские евреи, и в подтверждение его еврейства следовало признать, что он был мастером печь мацу и готовить тейглах. Без его тейглах не обходилась ни одна еврейская свадьба в Краснополье. Да и белорусская тоже, ибо тейглах любили все. Поселились они отдельно от мишпохи, купив старый, полуразвалившийся дом у Малки, которая уехала в Славгород к сыну. Дом они никогда не ремонтировали, и он оставался вечно развалюхой. Когда у дяди Лейзера спрашивали, почему он не займется домом, он говорил одно слово: «Засудят! — и добавлял совсем по-еврейски: — А кому это надо?»

Может он был и прав — в те годы засуживали неизвестно за что и почему, и спокойнее было жить в развалюхе. Когда заготовитель Янкель построил дом чуть-чуть лучше, чем у других, в райзоготконтору зачастили ревизоры и, в конце

концов, Янкеля засудили на пять лет с конфискацией имущества и забрали дом для сельхозлаборатории.

Кроме китайца Лейзера, Рахиль удивила Краснополье и близняшками: двумя девочками — Миррой и Голдой. До этого в Краснополье близняшек не было, и все дивились ими не меньше, чем китайцем. Они были одинаковые, похожи одна на другую, как две капли воды, и отличить их друг от друга было невозможно. Обе были в отца: узкоглазые, широкоскулые, худенькие — настоящие китайки, и только рыжие вьющиеся волосы говорили об их еврействе. Все дети звали их китайками, и они охотно откликались на это. Так звал их и родной брат Шмулик, который был старше на год. Шмулик был похож на своего деда Моню, и ничего китайского в его внешности не было. Он был моим одноклассником, и я с ним дружил. И, конечно, китайки были тоже моими друзьями, потому что от Шмулика они не отходили ни на минуту.

Жили они на нашей улице, и утром, едва проснувшись, перехватив что-то на ходу, я бежал к ним.

«Немке, вос ду ловст! Слофун дайрэ хавейрым! Немке, куда ты бежишь! Спят твои друзья!» — говорила бабушка, но я отмахивался от ее слов и бежал.

Я спешил к приходу дяди Лейзера. Пекарня работала по ночам, и дядя Лейзер возвращался домой часам к девяти утра. И приносил две горячие буханки китайского хлеба. К этому времени все дети сидели за столом, и тетя Рахиль, взяв у Лейзера хлеб, отрезала большие пышущие жаром куски, мазала их холодной сметаной, чтобы мы не обожглись, посыпала сверху солью и давала нам. Китайки ели хлеб медленно, откусывая по маленькому кусочку, долго жевали его и аппетитно приговаривали после каждого откусывания: «Ох, как вкусно! Прелесть! Объедение!»

А мы со Шмуликом съедали наши куски мгновенно и потом с завистью в глазах смотрели на жующих китаек. Почему-то новых кусков мы никогда не просили, хотя на столе оставался лежать хлеб и стояла кастрюлька со сметаной. Надо сказать, что сестренки часто не выдерживали нашего взгляда и делились с нами, ополовинив от своего хлеба довольно большие куски. Со мною всегда делилась Мирра, а со Шмуликом Голда. Я долго не мог отличить их одну от другой и спрашивал Шмульку, а тот говорил, что не знает и сам. А потом мне Мирра под большим секретом сказала: «Я верхнюю пуговицу на платице не застегиваю, а у Голды застегнуты все».

Она меня любила. Это мне сказал Шмулик. А я любил их всех. И готов был пропадать в их доме весь день.

Бабушка ругала меня за это, и особенно за утренние набегі:

— Как будто у нас нет своего хлеба? — говорила она. — Две буханки лежат, сохнут! Бери и ешь, сколько хочешь! Так ему чужой хлеб вкуснее! Как слэпер! Как нищий!

— Не слэпер! — не соглашался я с бабушкиными словами. — Я же халы им твои ношу? Ношу! Поэтому могу кушать их хлеб!

Бабушка не понимала, что наш хлеб был совершенно иной. Он был из магазина. И пока за ним приезжал райпотребсоюзковский возчик дядя Хаим, пока его везли на телеге через все Краснополье, пока разгружали в магазине, он терял хлебный дух, как говорил Шмулик... А дядя Лейзер брал хлеб прямо с печи — пышущий жаром, с поджаренной коркой. Он заворачивал его в старый шмулькин свитер, потом для верности, чтоб не вышел дух, оборачивал старой газетой и упаковывал в кошелку, прикрыв сверху шерстяным платком, и хлеб оставался свежим и горячим, как будто только что вынутым из печи. Ну разве можно было сравнить этот хлеб с хлебом из магазина?! Он был такой же вкусный, как пятничная бабушкина хала! Готовила бабушка халы в четверг вечером и на ночь ставила их в печь. Перед тем как поставить их туда, она мазала дно противня маслом (это делал я), потом она мазала сверху халы яичным желтком и медом. Вынимала противни с халами из печи бабушка утром. И с первыми халами я бежал к Шмулику. И мы со Шмуликом управлялись и с халой, и с хлебом. А китайки ели только халу. С молоком. Как всегда, отламывали маленькие кусочки и приговаривали: «Ох, как вкусно! Бабушка твоя бэрья! Бабушка твоя умелица! Спасибо твоей бабушке! Ой, как сладко! Медом пахнет!»

И говорили, что хала вкуснее хлеба. А нам и хала, и хлеб были вкусными одинаково.

Пиршества эти продолжались долго-долго. Я думал, что будут они всегда. Но однажды они прекратились.

В то утро я как обычно помчался к друзьям.

Вбежал, как всегда, запыхавшись на кухню и замер. Шмулик и китайки сидели за пустым столом, и у всех был какой-то растерянный вид. И они смотрели в сторону зала. Я тоже посмотрел туда. И увидел в зале милиционеров и Лейзеровых соседей Пивонковых. Милиционеров было трое. Двое незнакомых и наш участковый Ванька, сын нашей соседки тети Любы. Тетя Рахиль стояла перед ними, опустив голову, и молча перебирала что-то на столе. Я сел возле Шмулика и тихо спросил:

— Что случилось?

— Облава сегодня была в пекарне, — тихо сказал Шмулик. — Милиция ловила тех, кто выносит хлеб. Папку забрали.

— И что? — растерянно спросил я.

— У нас сейчас обыск делают, — зашептала то ли Мирра, то ли Голда.

В это утро у обоих были расстегнуты верхние пуговички. И я не знал — кто из них кто. Да и не до этого мне было в эту минуту. Я не знал, что мне делать: уходить или оставаться. Я уже было решил уходить, но в это время на кухню зашел милиционер...

— О, новый гость! — сказал он и вопросительно посмотрев на меня спросил. — Ты здесь часто бываешь?

— Да, — неестественно тихо сказал я.



— Ты, наверное, видел, как гражданин Ли Фу приносил из пекарни хлеб? — Он остановился напротив и впился в меня маленькими настороженными глазами.

Мне стало страшно. Дрожь пробежала по моему телу, как будто я дотронулся до электрического провода.

Я всегда говорил правду. Я даже не понимал, что такое ложь. Меня учили говорить правду бабушка, дедушка, папа, мама. Но в эту минуту я вдруг каким-то непонятным мне чувством понял, что нельзя говорить правду. Я посмотрел на замершие лица Шмулика и китаек, сжал пальцы в кулаки, чтобы унять дрожь и буквально выкрикнул:

— Нет!

— А чего ты кричишь? — спросил милиционер.

Я не знал, что мне ответить. Меня трясло. И от того, что я сказал неправду, и от того, что правду нельзя говорить. Не знаю, что бы со мной произошло через минуту, может быть я расплакался и все рассказал бы, но в это время на кухню заглянул Ванька. Он спас меня от предательства.

— Я его знаю, — сказал он милиционеру и успокаивающе посмотрел на меня, — это мой сосед! Он всегда говорит правду! А кричит он, потому что испугался!

— Да, я испугался! — сказал я заикаясь, и пока Ванька не ушел из кухни стал проситься отпустить меня домой.

— Беги, — сказал милиционер и нравоучительно добавил: — А милицию бояться не надо! Не будешь больше бояться?

— Не буду! — выдал я из себя и не помню как выскочил из дома и, ни на кого не глядя, побежал домой.

Когда бабушка увидела меня, она всплеснула руками и испуганно закричала:

— А клог цу мир! На тебе лица нет? Что случилось?

Я подбежал к ней, прижался к ее фартуку и слезы ручьем потекли из моих глаз. И я, глотая их, стал кричать:

— Я соврал! Я соврал! Я соврал!

Бабушка гладила меня по голове и молчала. Я не знаю сколько прошло времени, пока я, наконец, смог рассказать все бабушке. Она молча выслушала меня, а потом сказала:

— Говорить правду — это хорошо. Но в жизни правда не всегда приносит добро! А добро в жизни главнее правды, зуналэ! — и добавила: — А сын тети Любы — а гутер мэн! А сын тети Любы — хороший человек!

— Да, — подтвердил я.

А потом она сказала:

— Можешь оторвать подсолнух. Хоть и рано еще их рвать, но я разрешаю.

Семечки я любил, но сегодня мне их не хотелось. И я не пошел в огород отрывать подсолнух. Я вышел на улицу и сел на скамейку возле дома. Я сидел и думал про Шмулика и китаек. Я так задумался, что не заметил, как ко мне подошел

Эдик, сын тети Перлы с нашей улицы. За то что не заметил, я получил щелкан в лоб.

— Немка, — сказал он, — а я придумал, как буду завтра дразнить Шмулика.

— Как? — спросил я.

— Шмулик-срулик, главный вор, из пекарни булку спёр! — пропел Эдик и гордо добавил: — Сам придумал!

— Не воровал он хлеб, — сказал я.

— Воровал, воровал, — сказал Эдик. — Лейзера в милицию забрали! Я сам слышал, как тетя Дуся моей маме говорила. А тетя Дуся уборщицей в милиции работает! Она все знает.

— Дядя Лейзер не вор! — сказал я.

— Вор, вор! — закричал Эдик. — И я знаю, почему ты их защищаешь!

— Почему? — спросил я.

— Потому что тили-тили тесто, немка и китайки — жених и невеста!

Я вскочил со скамейки. И он дал мне второй щелкан. Тогда я изловчился и дал ему морской щелкан, который научил меня делать папин брат дядя Меер. Двумя пальцами с прищепкой. В два раза более болючий, чем простой щелкан. Эдик закричал, как Чапаев на белых, и кинулся на меня. Я тоже замахал руками, как индеец перед боем. Нам было не миновать кровопролитной схватки, но тут меня позвали в дом. И я удалился с поля боя под боевой крик врага.

Я не мог заснуть в эту ночь. И еще много ночей не спал. Я боялся, что узнают, что я соврал. Каждый день я ждал, что за мной придут из милиции. Ждал ночью и днем. Но не пришли. И дядю Лейзера не арестовали. Судили многих, а дядю Лейзера только оштрафовали и уволили из пекарни. Папа сказал, что его, наверное, не тронули, потому что он китаец. Так как в это время в Москву приехал Мао Цзэдун и во всех газетах писали, что Сталин и Мао — братья навек. И местное начальство не захотело портить великую картину дружбы народов. А мне хотелось думать, что дядю Лейзера отпустили из-за меня. И Мирра мне это сказала. Под большим секретом.

Дядя Лейзер устроился слесарем на льнозавод. И даже потом попал на доску почета.

Пекарня перестала печь китайский хлеб. И стала как прежде печь кирпичики: черные, серые и белые. Тоже вкусные, но не такие, как хлеб дяди Лейзера.

А бабушкины слова я запомнил на всю жизнь. И когда мне нужно выбирать между правдой и добротой, я всегда выбираю доброту. И не люблю правдолюбцев, размахивающих правдой, как мечом.